

Помню встречу с Геннадием Черкашиным на Матросском бульваре в Севастополе, мне тогда было десять. Это была даже не презентация книги, просто человек приехал в родной город, встречался с друзьями людьми. Выстроилась нехилая очередь. К какому писателю выстроится очередь сегодня? К единицам, и то после творческих вечеров, на книжной выставке, а здесь – просто парк, летний день. Даже те, кто не читал Черкашина, знали: есть такой человек, он местный, он «за Севастополь» в трудные времена.

Я перечитывал эту книгу несколько раз – она небольшая, читается очень легко. Строго говоря, книга эта не военная, а послевоенная. Она о том, как в разрушенном городе восстанавливается жизнь. Но еще ярки, свежи воспоминания о войне, еще все вокруг напоминает о трагических днях. Тем не менее книга не о смерти, а о торжествующей жизни.

В ее заглавном рассказе – весь дух побежденно-го, но несломленного Севастополя. Немцы захотели снять на камеру «пошатающихся, слабых, жалких» матросов.

*...И тогда я расскажу им о том, как их, пленных, вели по родному городу, который все еще дымился, и как он запел матросскую песню «Варяг», и как все подхватили и пошли четким парадным шагом, с гордыми лицами. Я расскажу им об этом, думал я, и о том, как эсэсовцы зашили Федорову рот медной проволокой.*

*Сначала ему, а потом всем остальным. Они думали, что теперь моряки замолчат. Они ошиблись. «Верить, мы снова запели, замычали, чтобы эти гады знали, что это наш город. Наш! Понимаешь, на-аш, а не их, и мы бы допели, даже если бы они пустили в ход автоматы».*

Эта история неожиданно рифмуется с послевоенной жизнью севастопольских мальчишек. Жизнь как жизнь: школа, двор, игры в футбол, разве что мяч тяжелый, ведь он вырезан из гусеничной резины подбитого танка – небольшая деталь.

*Мы еще утром знали, что в бухте стоит американский сухогруз, который пришел к нам, потому что в Ялте началась конференция. На эту конференцию Рузвельта и Черчилля везли через наш город, чтобы показать им, как он разрушен.*

<...>

*Когда Котька забил гол, союзники захлопали в ладоши, а самый длинный американец поманил нас к себе. Он показал на какую-то коричневую коробку и сказал, что это шоколад. Как-то моряки угощали меня шоколадом, маленьким коричневым кусочком, который тут же растаял во рту. Другие ребята его не ели – это уж точно. Жереб даже спросил у меня, что вкуснее: виноград или шоколад. Тоже мне, нашел, что сравнивать!*

*– Виноград – это виноград, – сказал я. – А шоколад – это... это...*

– Конфета, – подсказал мне Котька.

– Какая конфета! – я рассмеялся. – Чудак этот Котька, нашел конфету, умора, да и толька!

– Конфета – это конфета. Подушечка, например, леденец, – сказал я, – А вот шоколад – это шоколад. Это... – я поцеловал кончики пальцев и закатил глаза, – Вот что такое шоколад!

<...>

Длинный офицер присел, навел на нас кинокамеру и кинул плитку. Плитка взлетела вверх и, кувыркаясь, упала на землю. Меня немного удивило, зачем он ее кинул, а не протянул нам, но когда Киндер подбил ее ногой, я все понял. Они думали, что мы вцепимся в этот шоколад и будем рвать его друг у друга, как голодные собаки. Мы будем драться, а они будут снимать, а потом показывать у себя в Америке.

Я крикнул:

– Киндер, пас! – и он мастерски пасанул мне эту плитку, а я с ходу послал ее Котьке – пусть тоже подержится: шоколад ведь!

<...>

Невысокий американец повернулся и пошел прочь. За ним потянулись остальные. Нащупав рогатку, я кинулся следом. Я не собирался стрелять в кого-нибудь из них, нет. Я только собирался хорошим выстрелом разбить киноаппарат. Я видел, как они остановились, и уже поднял рогатку, когда тот, что был поменьше остальных, вдруг треснул верзилу по роже.

Однажды мальчик меняет у пленного немца клипер – голубой двухмачтовый парусник – на кусок хлеба.

– Хлеб?! За эту ерунду, – удивилась бабушка. – Горе ты наше... Просто не знаю, что с тобой делать...

<...>

Старик перестал улыбаться.

– Странные мы люди, – сказал он. – Когда здесь были они, они забирали все, что им нужно. Не спрашивали у нас. Для нас им было не жалко только пуль, а нам не жалко для них хлеба.

Хлеб и пленные – две главные приметы послевоенной жизни, которую Черкашин исчерпывающе описывает одним предложением:

Привычно было видеть пленных, привычно было видеть очереди за хлебом, развалины вместо домов, привычно было видеть море, переходящее на горизонте в небо, а где-то там, за горизонтом, лежала жаркая и загадочная Турция.

Мальчишки дерутся, катаются на велосипеде, пытаются заработать, помогают рыбакам. Здесь вроде бы нет ничего «от войны», обычная жизнь, но вот мальчик приходит домой.

В бабушкином окне мерцал свет от копилки. Я заглянул в окно. Бабушка стояла на коленях и молилась богу:

– Господи, верни ребенку отца, хоть без рук, хоть без ног, только верни... Может, он в плену, разыщи его, господи, и верни, я прошу тебя...

В комодке теперь лежали два извещения. Одно на отца. Другое на моего дядю. Он погиб под Новороссийском. Бабушка просила господу уже не первый раз. Мы часто слышали о том, что возвращаются люди, которых все считали погибшими.

Отец мальчика так и не вернулся. Но вернулись выжившие моряки; он встречает их вместе с другими севастьяпольцами.

Творилось что-то непонятное. Один матрос обнимал мраморную колонну на Графской, гладил ее. Другой плакал в объятиях слепой женщины. Я не знал, что матросы умеют плакать. «Почему я не плачу, ведь я очень любил своего отца?»

Если броситься в море, то сначала будет очень холодно, и в воде рассыплются короткие голубые искорки... В голове плыло... Вспомнилось что-то очень далекое... Было холодно, и отец был в шинели, когда я поскользнулся и хлопнулся в воду. Отец выдернул меня из воды и укутал в шинель. Потом мы ехали на такси, и у меня стучали зубы. Но заболел не я, а он – «от переживаний», как сказала мама.

Это все, что он помнит об отце, которого забрала война. Деталь автобиографичная – отец Черкашина погиб в боях под Киевом. Но вот война закончилась, и жизнь спешит пробиться сквозь нее, прорасти, как стебель через асфальт. Писатель мастерски фиксирует этот переход: как день за днем, упорно жизнь в ее торжествующей повседневности замещает, вытесняет войну. Она вдыхает полной грудью морской севастьяпольский воздух, и сама книга в какой-то момент тоже кажется глотком воздуха. И хотя в ней и пыльно, и душно, и тяжело, и неудобно, важно только одно – сама возможность дышать.

«Живу с верой и надеждой, что моя любовь к Севастополю, отлившаяся в строки, перейдет от них к читателю, и он полюбит наш славный город так же, сильно и честно, как автор», – говорил Черкашин.